



Шеде

Арина Сокол

Печать суверена

2. Век равновесия

<https://litres.ru/74693159>

SelfPub; 2026

Аннотация

Кира знает о своём даре слишком много, чтобы жить спокойно: она видит то, чего ещё нет, и уже не первый год носит на плечах чужой дом, чужую тайну и охоту Высшего Совета магов. Когда Гримуар сам открывается на середине и пишет имена, одно из них приводит её в квартиру на юге — к девятнадцатилетней Алёне, которая прячет горящие ладони в рукава и боится, что сходит с ума.

Алёна учится на врача и не знает, что её дар — не проклятие, а нота. Кира не обещает ей сказку: за ней охотится Совет, в её доме живёт глава синдиката, а единственное, что она может сказать, — «ты больше не будешь держать это одна».

Это история про тёплые руки, которые умеют держать, сшивать и защищать. Про людей, которые потеряли всё и всё равно выбрали не прятаться. Про первую любовь, старую башню и мать, вставшую между дочерью и ударом.

Содержание

Глава 1. Дверь на восток	4
Глава 2. Тёплые руки	10
Глава 3. Южное утро	18
Глава 4. Сорок первый	26
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Арина Сокол

Печать суверена

2. Век равновесия

Глава 1. Дверь на восток

Южный город ударил по лицу жарой — не той сухой, к которой Кира привыкла, а густой, влажной, будто кто-то поднёс к её лицу мокрое полотенце, выжатое над раскалённым камнем. Она стояла у борта маленького самолёта синдиката, и волосы уже растрепались под ветром от винта, а куртка давно перекечевала через руку и волочилась по трапу, цепляясь рукавом за каждый второй поручень.

Кира смотрела за низкое бетонное ограждение аэродрома и не узнавала мир.

Акации. Целые улицы акаций, тяжело провисших под белыми гроздьями, будто кто-то рассыпал по веткам попкорн. Стены домов — выбеленные до цвета зубной эмали, слепящие даже сквозь прищур. Черепица — рыжая, тёплая на вид, как хлебная корка. И где-то в сизой дымке, за всем этим — далёкие купола, тонкие и округлые, как поставленные вверх ложки.

Пахло пылью, раскалённым железом крыши и притор-

но-сладкой шелковицей. Она росла прямо у обочины, ничего ни о чём не спрашивая, и роняла на асфальт чёрные липкие пятна, к которым уже слетались мухи.

Кира незаметно растёрла ладони одну о другую. Тёплые. Не горячие, а просто тёплые, как у человека, который долго держал кружку. Но она знала: это не от жары. Это от того, что где-то близко была нужная ей дверь.

— Двадцать минут до её дома, — сказал Артур Николаевич, надевая тёмные очки. Не для маскировки — просто солнце здесь резало глаза, как лезвие, и даже он, человек с лицом, отлитым из терпения, щурился. — Кира. Ещё раз. Расскажи, как ты себе это представляешь.

Она повернулась к нему и впервые за долгий год позволила себе улыбнуться — широко, почти по-детски, так, что на щеке обозначилась ямочка, которую она сама у себя не помнила.

— Я постучу, — сказала Кира. — Она откроет. Я скажу: «Здравствуй, Алёна». И дальше как Поле поведёт.

— Ещё раз «Здравствуй, Алёна» — и мы поедem обратно, — проворчал Артур, но без злости, и первым шагнул к машине, сухо щёлкнув брелоком. — Я останусь внизу. У подъезда. Если через десять минут не вернёшься — поднимаюсь.

— Через десять минут я ещё не успею с ней поздороваться, — сказала Кира, догоняя его. — Она южанка, дядя Артур. Тут сначала чай, потом разговор.

Он остановился.

Обернулся на это слово — совсем на одно короткое мгновение, — и в этом мгновении Кира успела увидеть, как дёрнулась у него жилка на виске и как он снова спрятал лицо за чёрными стёклами. Он не любил, когда она так его называла. Не потому, что не хотел. Потому что хотел слишком.

— Садись, — сказал он.

Машина шла по городу медленно, потому что иначе здесь было нельзя. Мопеды выныривали из переулков, как воробы, гудели, обгоняли, ругались. У пекарни на углу из открытой двери вываливалось облако горячего хлеба — такого густого, что его, казалось, можно было есть ложкой. Мальчишки гоняли обруч от бочки. Кошка спала на капоте чьей-то старой «Волги», разложившись на нём, как хозяйка. Мимо прошла женщина с корзиной, из которой торчали зелёные хвосты редиса, и оглянулась им вслед — не враждебно, а просто.

Смотрит, — подумала Кира. — Здесь все смотрят. Здесь смотреть — это как дышать.

А в груди у неё росло — тихо, ровно, как гудение провода под ветром. Ладони теплели. Кира сжала их в кулаки, потом разжала.

Год назад я думала, что дверь — это метафора. Что «най-ти своё» — фигура речи. Мама бы сейчас посмеялась. У неё были зелёные глаза, и она всегда говорила: «Ты не ищи, ты слушай. Дверь сама знает, где ты стоишь».

Она сглотнула и отвернулась к окну.

Дом стоял в глубине старого двора — за тополями, за бельём, развешенным на верёвках от стены до стены. Простыни висели неподвижно, без ветра, и в их белизне тонул весь двор. Кира вышла из машины. Асфальт под ногами был мягкий, разогретый до состояния, когда он готов прилипнуть к подошве.

— Я на связи, — сказал Артур.

— Я знаю, — сказала Кира и пошла.

Лифта не было. Она поднималась пешком, на третий этаж, и с каждым шагом её ладони отзывались всё плотнее и теплее — сначала это было просто тепло, потом гудение, а потом что-то мягкое, ласковое, как чужая рука на затылке. Кира остановилась на площадке второго этажа, прислушалась к себе и поняла.

Я уже на её лестнице. Здесь.

Она позвонила.

Долго никто не открывал. Кира успела разглядеть на двери чужую мелом нарисованную восьмёрку, отставшую краску на косяке, детские сандалии, забытые на полу у мусоропровода. Пахло сыростью, старым линолеумом и совсем слабо — мятой.

Потом послышались шаги. Осторожные, босые, шлёпающие по линолеуму так, будто человек не хотел, чтобы его слышали. Щёлкнул замок — раз, другой.

На пороге стояла девушка в серой футболке до колен, с растрёпанной светлой косой, перекинутой на одно плечо, и

с чашкой в руках. Пар от чашки шёл вверх и обволакивал её лицо лёгкой дымкой. Невысокая — чуть ниже Киры, чуть шире в плечах, — и смотрела она внимательно, как смотрят на незнакомого, но почему-то давно ожидаемого человека. Как будто всю ночь не спала и ждала звонка, а теперь не была уверена, что дверь надо было открывать.

Одна её рука, та, что не держала чашку, была прижата к груди, к самому сердцу, — и пальцы на секунду, сами того не заметив, сжались в ткани футболки.

— Здравствуй, Алёна, — тихо сказала Кира.

Алёна долго смотрела на неё. Слишком долго для вежливости и слишком мало для недоверия. Потом перевела взгляд на раскрытые Кирины ладони — на пальцы, лежавшие свободно, без напряжения. И вдруг коротко, обречённо выдохнула, будто выпустила из груди воздух, который держала там много лет и уже почти забыла, что держит.

— Ты тоже? — спросила она.

Кира кивнула.

— Тоже. — И переступила с ноги на ногу, потому что внезапно разволновалась так, как не волновалась даже на трапе самолёта. — Можно я войду?

Алёна отступила на шаг. И на этом шаге — только на этом одном — чашка в её руках дрогнула, и на пол упала одна светлая капля чая.

Кира сделала шаг через порог.

И почувствовала, как гудение в ладонях — тихое, ровное,

привычное — вдруг вспыхнуло и стало горячим.

Дверь за её спиной захлопнулась сама.

Глава 2. Тёплые руки

В квартире пахло вареньем и старым деревом.

Это был тот особенный южный запах — густой, приторно-сладкий, с горчинкой пыли и нагретого солнцем подоконника, — и он въедался в Киру раньше, чем она успевала понять, где находится. Абrikосовое. Вишнёвое. Что-то ещё, третье, в банке с отломанной крышкой, стоявшей на верхней полке между солью и старым заварником, покрытым сеткой трещин, как паутиной.

На кухне работало радио — тихо, на самом минимуме, на той громкости, которую включают не для того, чтобы слушать, а чтобы квартира не казалась пустой. Диктор тянул что-то про погоду, про жару, которая продержится до конца недели, и его голос сливался с гулом холодильника и ровным, чуть надсадным — сорванным на простуде или на бессонных ночах — голосом матери Алёны, доносившимся откуда-то из глубины квартиры:

— ...да нет, не приедет она, у неё сессия, оставь ты это. Оставь, я сказала. Что я, сама не справлюсь, что ли?

Кира села на табурет — на самый край, так, чтобы не скрипнуть, — и положила рядом с собой на холодильник телефон, экраном вниз. Не потому, что ждала звонка, а чтобы не видеть его. Чтобы не тянуло проверить, не пишет ли Артур, не стоит ли он до сих пор у машины, не смотрит ли на

окна третьего этажа с тем своим непроницаемым лицом, за которым никогда не угадаешь — спокоен он или уже давно всё понял и просто ждёт.

Она подобрала под себя ноги, ощутила ладонями прохладу клеёнки — старой, с выцветшим узором, процарапанной в одном месте, — и сказала негромко:

— Расскажи. Когда началось?

Алёна не ответила сразу.

Она стояла у раковины спиной к Кире — тонкая, в застиранной футболке не по размеру, с волосами, забранными в небрежный узел на затылке, из которого выбились две пряди и липли к влажной шее. Ополоснула чашку — долго, тщательно, будто это сейчас было самое важное дело в её жизни, — поставила на полку рядом с другой, точно такой же, с отбитой ручкой, и только потом вытерла руки о полотенце, висевшее на гвоздике, и села напротив.

Обхватила себя руками — крепко, как будто ей вдруг стало холодно посреди южного пекла за окном. Посмотрела не на Киру, а куда-то в сторону, на край стола, где лежала забытая тетрадь с лекциями, исписанная мелким аккуратным почерком отличницы.

— В феврале, — сказала она наконец. — Я проснулась, и руки горели.

Кира молчала. Знала, что сейчас нужно именно молчать.

— Я подумала — отопление. — Алёна коротко усмехнулась, без веселья, одним углом губ. — У нас батарея в ком-

нате шпарит так, что окно приходится открывать посреди зимы. Ну, я и решила — вот. Полежала, умылась холодной водой, прошло вроде. А потом март. Апрель. То же самое. Каждое утро. Ладони — как два уголька, горячие-горячие, и внутри что-то гудит, понимаешь? Не больно. Просто гудит, и всё. Как будто там, внутри, — провод под напряжением, и он ждёт.

Она сцепила пальцы — и Кира заметила, как побелели костяшки.

— Врачам не сказала. Маме не сказала. — Голос Алёны дрогнул один раз и выровнялся. — Я в медицинском учусь, я знаю, что бывает, когда человек приходит и говорит: «у меня ладони горят без причины». Я думала, я с ума схожу. Знаешь, как это страшно — думать, что сходишь с ума, и не мочь никому сказать, потому что тогда это станет правдой?

— Знаю, — тихо сказала Кира.

И это была не вежливость. Это была чистая, выстраданная правда — та, которую она не произносила вслух уже много лет.

Алёна наконец подняла на неё глаза — серо-зелёные, ясные, с длинными ресницами и с тем самым упрямством настоящей южанки, которое не спрячешь ни за усталостью, ни за страхом. И продолжила:

— Потом однажды... — Она сглотнула. — Одной женщине на остановке стало плохо. Прямо рядом со мной. У неё был приступ, понимаешь? Сердце, наверное, или давление

— я не поняла, всё быстро было. Она осела на лавку, побелела вся, губы синие, вокруг люди руками машут, «скорую» вызывают, кто-то воду принёс... А я как будто не я. Подошла. Взяла её за руку — просто за руку, вот так, — и приступ прошёл. У неё. Прямо у меня в руках. Через минуту она уже сидела и глазами хлопала, а меня трясло.

Кира медленно выдохнула.

— Поле, — сказала она. — Ты почувствовала поле.

— Я не знаю, как это называется. — Алёна подалась вперёд, и в голосе её впервые за весь разговор мелькнула злость — не на Киру, на саму себя. — Я вообще ничего не знаю. Я поступила в медицинский, я три года на одни пятёрки, я хочу быть врачом. Просто врачом. Лечить людей по-нормальному, с дипломом, с уколами, с назначениями — а не вот этим. — Она посмотрела на свои ладони, как будто видела их впервые. — И вот это всё — оно мешает. Мешает жить, мешает учиться, мешает спать. Я не могу думать ни о чём другом, потому что каждую минуту боюсь, что оно снова включится и я сделаю что-нибудь, чего не хотела.

Кира слушала — и в её груди поднималось то самое, давно знакомое чувство, у которого даже названия не было. Понимание. Не жалость, не сочувствие — понимание, от которого ноет под рёбрами.

Она помнила шесть лет от роду. Маленькую, в чужом городе — сером, дождливом, с незнакомым запахом мокрого асфальта и подъездов, — с матерью, которая не спала ноча-

ми, вздрагивала от каждого звонка и всё время оглядывалась на дверь. Помнила, как мать учила её не отвечать на вопросы чужих взрослых, не показывать ладони и — главное — никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не рассказывать, что происходит, когда руки становятся горячими.

И помнила тот день, когда её собственные ладони впервые сказали «нет». Не «да», не «помоги», не «я здесь» — а «нет». Твёрдо. Так, что она сама испугалась. И ещё не знала ни где живёт по-настоящему, ни кто она такая, ни почему мир так устроен, что одна маленькая девочка может одним движением руки повернуть чужую жизнь обратно.

Тогда ей никто не объяснил.

— Мешает, — согласилась Кира. — Пока ты одна.

Алёна посмотрела на неё — резко, недоверчиво.

— У нас в башне оно не мешает, — сказала Кира. — Оно работает. Понимаешь разницу? Там не «оно случается со мной», там «я это делаю». Это два разных мира, Алёна. Совсем разных.

На кухне стало тихо. Только радио всё ещё бормотало про жару, холодильник урчал в углу, да где-то в глубине квартиры мать Алёны закончила разговор и теперь, судя по звуку шагов, ходила по комнате, что-то складывала, что-то переставляла.

Алёна подняла на неё глаза — и спросила то, чего Кира и ждала, и боялась ждать одновременно:

— А мама?

Кира выдержала паузу. Не потому, что сомневалась в ответе, — потому что хотела, чтобы Алёна услышала его целиком, от начала и до конца.

— Мама поедет с тобой, если захочет, — сказала она. — Если она захочет — она поедет. Но если не захочет — тебе придётся решить самой. Я тебе не буду обещать сказку. Я не умею. У нас в башне живёт глава синдиката, и за нами охотится Высший Совет магов, и я не смогу тебе объяснить за один день всё, во что ты сейчасходишь. Да я и за год не смогу. — Она помолчала. — Единственное, что я тебе обещаю, Алёна. Ты больше не будешь держать это одна. Никогда. Что бы ты ни решила — ты не останешься одна.

Вот это было важно.

Кира видела, как изменилось лицо Алёны — как что-то внутри неё, что было сжато пружиной с самого февраля, наконец чуть-чуть отпустило. Не разжалось до конца. Но чуть-чуть.

Алёна долго смотрела на неё.

Потом — медленно, будто решая что-то для себя раз и навсегда, — встала. Подошла к шкафу. Открыла дверцу, и та скрипнула — длинно, обиженно, как скрипели все старые шкафы в этом городе. Достала с нижней полки спортивную сумку — старую, серо-синюю, с поломанной молнией, которая торчала в сторону, как сломанное крыло.

И начала складывать в неё вещи. Молча.

Футболку. Другую. Джинсы. Кофту. Ещё одну кофту —

потёплую, на случай холода, которого в этом городе не бывает, но которую всё равно берут, потому что так надо. Она двигалась медленно и точно, без суеты, будто всё давно решила, и ждала только повода. Только чашки звякнули на полке от её движений — тонко, жалобно, как будто они тоже хотели что-то сказать и не могли.

— Мама узнает не от тебя, — сказала Алёна, не оборачиваясь. Голос был ровный почти до искусственности. — Она узнает от меня. Дай мне два часа.

— Стой.

Кира поднялась и мягко положила ладонь ей на плечо. Сквозь тонкую футболку чувствовалось тепло — не то, что даёт отопление или солнце. Другое. Живое. То, что она узнала бы из тысячи.

— Она сейчас внизу, — сказала Кира. — Она всё равно узнает. И если ты выйдешь одна и потом вернёшься — это будет одна история. А если ты выйдешь вместе со мной — это будет совсем другая. — Она убрала руку, но не отошла. — Давай вместе.

Алёна замерла. Стояла спиной, не поворачивалась, и Кира чувствовала, как под её ладонью — даже после того как та ушла — всё ещё бьётся в ритме чужого упрямого сердца что-то очень знакомое. Что-то, что она видела когда-то в собственном отражении — шесть лет от роду, в чужом городе, с матерью, которая не спала ночами.

Алёна медленно выдохнула — длинно, через нос, как вы-

дышают, откладывая на секунду решение, которое уже принято.

Потом закрыла молнию на сумке — кое-как, до половины, потому что молния была сломана и дальше не шла. Посмотрела на эту половинчатую, кривую, глупую закрытость, и по её лицу прошла тень — короткая, быстрая.

— Ладно, — сказала она. — Вместе.

Глава 3. Южное утро

Мать Алёны, Раиса Петровна, работала медсестрой в районной поликлинике почти тридцать лет — и за эти тридцать лет научилась не верить людям по первому слову. Ни пациентам, которые клялись, что пили таблетки. Ни врачам, которые клялись, что всё под контролем. Ни дочери, которая с февраля стала задумчивой и начала прятать ладони в рукава.

Она выслушала Киру, не перебив ни разу. Не потому, что верила, — а потому, что так работала: сначала выслушать, потом решать. Сидела напротив, прямая, в домашнем халате поверх платья, с руками, сложенными на коленях, и смотрела на гостью так, как смотрят на историю болезни — не на человека, а на симптом.

Потом выслушала дочь. Долго молчала. И вдруг — то, чего Кира не ждала совсем:

— Телефон вашего Артура Николаевича дадите?

Кира дала. Раиса Петровна взяла трубку, отошла к окну и позвонила прямо оттуда, из кухни, при обеих девушках, не стесняясь ни секунды. Говорила негромко, коротко, деловито — Кира слышала только обрывки: «...в каком году зарегистрирована...», «...а клиническая картина...», «...и что, вы ей это всё сами объяснили?...», «...нет, я спрашиваю не из любопытства, я спрашиваю как медик...».

Двенадцать минут.

Кира потом посчитала — это было ровно двенадцать минут, и за это время Раиса Петровна не повысила голос ни разу. А это, судя по тому, как Алёна вжалась в спинку стула и не поднимала глаз, было хуже любого крика.

После звонка Раиса Петровна положила трубку на стол — аккуратно, точно. Взяла с гвоздика во дворе ключи. Вышла — не попрощавшись, не сказав ни слова. Кира видела из окна, как она спустилась по лестнице, как прошла мимо качелей, мимо сушилки с чьим-то бельём, как села на лавочку под тополем.

И закурила.

Тополь был старый, с толстым стволом, весь — в прошлогодних белых пушинках, которые южный ветер таскал по двору клочьями. Раиса Петровна сидела под ним очень прямо и курила так, как курят люди, которые бросили курить много лет назад и всё это время держались. Медленно. Каждую затяжку — до самого фильтра. А потом долго смотрела на тлеющую сигарету, будто ждала, что она сама подскажет решение.

Кира стояла у окна и не отходила.

Она видела, как из подъезда напротив вышел сосед с пакетом — поздоровался, спросил что-то, и Раиса Петровна кивнула как-то так, что он сразу отошёл. Как проехал мимо грузовик, как залаяла чья-то собака, как солнце перебралось через угол дома и легло квадратом на асфальт — а Раиса Петровна всё сидела. И сигарета за сигаретой.

Три. Может, четыре.

В девяностые она бросила — об этом Кире потом сказал Артур, которому Алёна проговорилась в самолёте. Двадцать лет не курила. А тут — четыре сигареты подряд, под тополем, в халате.

Кира видела, как она растёрла окурок о лавочку. Посидела ещё немного. Встала.

Пошла домой.

Вернулась тихая. Лицо было спокойное, глаза — тоже, но в них теперь жило что-то другое. Не вера. И не недоверие. Что-то третье, чему у медиков даже названия нет.

Села на табурет, ровно там же, где час назад сидела Кира. Посмотрела на дочь — долго, внимательно, как смотрят на человека, с которым собираются не разговаривать о самом важном.

Потом сказала:

— Пальто у неё лёгкое. Купите ей куртку на севере.

Кира растерялась на секунду.

— Я — куплю, я серьёзно, — сказала она быстро. — У нас в башне всё есть.

— Нет, — Раиса Петровна покачала головой. — Она когда одежду выбирает сама — тогда в новой жизни быстрее приживается. Пусть сама купит. Вы ей денег дайте, я потом верну.

И, помолчав, добавила деловым тоном, будто решала вопрос с выпиской из отделения:

— И список врачей клиники я вам пришлю. У меня в медицинском архиве есть всё. Диагностика, эндокринология, неотложка — список сделаю, чтобы вас там никто в темноте не держал.

Кира смотрела на неё и не знала, что сказать.

Раиса Петровна поехала в аэропорт вместе с ними. Она не полетела — у неё была смена в поликлинике, на которую она не могла не выйти, была старая мать в пригороде, которой она не могла не объяснить, почему внучка уезжает в разгар семестра, и был, наверное, одиннадцатый по счёту сон, в котором она так и не смогла увидеть, что делать дальше.

Она не поехала, но она посадила их на самолёт. До самой последней минуты.

В зале регистрации она держалась отстранённо — сказала Артуру Николаевичу коротко, два слова, сказала Кире что-то вроде «присматривайте за ней», но не обняла дочь ни разу. Алёна стояла рядом, держала сумку с поломанной молнией — ту самую, — и смотрела в пол. И Кира видела, как её левая рука то сжимается, то разжимается на ремне.

Они прошли рамку. Зашли в зону досмотра. Раиса Петровна осталась за ограждением — прямая, в халате, накинутом на плечи, потому что в аэропорту было холодно и она выскочила из дома как есть, не переодеваясь.

Она стояла и смотрела. Смотрела, как её дочь — девятнадцатилетняя девчонка, которая училась на третьем курсе и хотела просто быть врачом, — уходит куда-то, где она не

сможет её ни увидеть, ни проверить, ни накрыть на стол.

Ни разу не отвела глаз.

Трап поднялся. Кира обернулась к ограждению — и увидела, как Раиса Петровна поднесла руку к лицу. Несколько секунд — и опустила. Потом полезла в карман за сигаретой, потом, вспомнив, сунула руку обратно. И стояла — уже одна. Прямая. В халате.

Южное утро было очень яркое. Солнце било в бетон так, что всё казалось белым. Рядом с трапом пахло горячим металлом и керосином.

Кира отвернулась к иллюминатору.

Самолёт плавно оторвался. Город внизу начал складываться в детские кубики — кварталы, дворы, тополя, бельевые верёвки, — и через пару минут от всего этого осталась только карта.

Алёна сидела в противоположном кресле, пристёгнутая, с коленями, прижатыми к груди, и смотрела в одну точку — не в окно, не на Киру, не на Артура Николаевича. Просто в одну точку. Волосы у неё выбились из узла, и Кира смотрела на эти волосы и почему-то думала о том, как эта девочка дошла до своей остановки в феврале — до третьего курса медвуза, до утренних обжигающих ладоней, до приступа у чужой женщины на лавке — одна. Совсем одна.

— Ты в порядке? — спросил Артур Николаевич.

Он сидел в двух метрах от неё, с планшетом на коленях, но Кира видела — не работает. Экран погас, а он не разблос-

кировал. Просто держал его как повод.

— Не знаю, — честно сказала Алёна.

И это была первая честная фраза, которую она сказала за всё утро, — без упрямства, без позы, без отбитого тона. Просто честно.

— Я впервые в жизни лечу куда-то не по своей воле, — сказала она. — Мне девятнадцать. У меня была назначена практика в терапевтическом отделении с понедельника.

— Практика подождёт, — сказал он.

— Ты не в тюрьму летишь.

Алёна вскинулась — резко, как вскидываются люди, которых всю жизнь учили отвечать:

— А куда?

Артур поднял на неё глаза.

Кира видела его лицо в профиль, и оно было спокойное — по-настоящему спокойное, не то, которое надевают, чтобы успокоить, а то, которое идёт изнутри. Он умел так смотреть. Редко. Но умел.

— Домой, — сказал он. — Ты летишь домой.

Алёна открыла рот, чтобы возразить, — и закрыла. Что-то в этих словах было такое, чего она сама ещё не понимала, но уже чувствовала.

— Ты этого пока не понимаешь, — продолжил Артур Николаевич. — Но это так. У нас на сорок первом этаже живут две женщины. Одна из них — твоя ровня. Не по силе — по природе. Понимаешь разницу? Там тебе не будут объяснять,

что с тобой происходит, — там тебе просто покажут. Тебе туда. Не в тюрьму. Домой.

Алёна молчала. Потом отвела глаза — и отвернулась к иллюминатору. За окном плыли облака — ровные, белые, совсем не такие, как под ними, внизу.

Кира сидела напротив, спиной к кабине пилотов. Положила руки на подлокотники — и почувствовала: тепло. Ровное. Спокойное. Не то зимнее, что горит ночами, не то тревожное, что входит в ладони, когда где-то рядом опасность. Просто тёплое. Как в детстве, когда мать ночью прикладывала ладонь к её лбу, чтобы проверить, нет ли жара. Может быть, поэтому люди и звали это так. Не «поле», не «дар», не «сила». А просто — тёплые руки.

Она не знала, чем закончится этот том её жизни. Никто не знал. Там, впереди, были башня, синдикат, Высший Совет, кто-то с синими глазами, которого она пока не встретила, и что-то ещё, о чём ей ещё предстоит узнать. Много всего. Слишком много всего.

Но она точно знала, что началось главное.

Началось не с двери, которая хлопнула тогда в квартире. Не с ладоней, которые вспыхнули. И даже не с этого утра, с трапа, с Раисы Петровны в халате за ограждением.

Началось с того, что рядом с ней, в кресле напротив, сидела девчонка из южного города, которая приехала сюда не по своей воле — и уже начала понимать, что теперь она никогда не будет одна.

Глава 4. Сорок первый

К вечеру того же дня лифт на сорок первом этаже открылся — тихо, с мягким вздохом, — и Алёна Дорохова впервые в жизни вошла в квартиру, из которой был виден весь город.

Она остановилась в дверях и не сдвинулась с места.

Кира обернулась — и не стала её торопить. Она хорошо помнила этот момент. Помнила, как четыре года назад сама точно так же стояла на этом же пороге, с той же сумкой, с тем же сжавшимся внутри вселенной чувством, когда горизонт впереди становится не пейзажем, а вопросом: а как, вообще, теперь жить?

Перед Алёной были не просто панорамные окна. Перед ней был горизонт — огромный, ничей, чуть закрашенный закатом, распластаный по стёклам во всю стену от пола до потолка. Огни города зажигались уже снизу, один за другим, как будто кто-то вёл по асфальту спичкой. Дымка над рекой. Полоска туч. Самолёт где-то далеко-далеко, крошечный, почти игрушечный, — и от этого всего было страшно. Не от высоты. От того, что мир оказался настолько большим.

Алёна никогда в жизни не поднималась так высоко. Ей хотелось отойти от окна. И одновременно — не отходить никогда.

Сумку она так и держала в руке. Стояла в кроссовках на пороге, как будто ждала разрешения.

Из кухни вышла женщина.

Простая. Среднего роста. В сером свитере, рукава подбраны до локтя, каштановые волосы убраны под платок, из-под которого выбилось несколько прядей. Фартук в муке. Тряпка через плечо. Обычная женщина, каких миллион, — если бы не глаза. Спокойные, тёплые, внимательные — такие глаза бывают у людей, которые видели много страшного и всё равно не разучились улыбаться.

Она посмотрела на Алёну без всякой оценки. Мягко. Как смотрят на ребёнка, который впервые в чужом доме и не знает, куда себя деть. И улыбнулась:

— Заходи, милая. Я — Елена.

Алёна не двинулась — и Елена это заметила, но не стала делать вид, что не заметила. Просто продолжила, как будто всё шло обычным своим чередом:

— Я знаю про тебя ровно столько, сколько Кира успела мне рассказать по телефону. То есть мало. — Она отряхнула руки о фартук. — Значит, начнём с чая. Всё остальное — потом.

Алёна наконец переступила порог.

Кто-то — Кира потом поняла, что Елена, ещё утром, до того как все вернулись, — предусмотрительно поставил у входа тапочки. Тёплые, мягкие, серые, в тон свитеру хозяйки. Её размера. Ровно её размера.

Алёна на них посмотрела. Сняла кроссовки, надела. И от этого простого движения — в горле что-то дрогнуло. Она са-

ма не поняла, почему. Может, потому, что за полгода никто ни разу не подумал о том, что ей может быть холодно.

Вечером они сидели за кухонным островом — вчетвером: Кира, Елена, Артур Николаевич и Алёна. Лампа над столом была тёплая, лакированная столешница отражала её тускло, длинно. В окно уже лился синий, сизый, будто нарисованный тушью, вечер.

Элена молча поставила перед Алёной тарелку. Картошка, запечённая в мундире, с рёбрышками, посыпанная зелёным луком. Выглядело это так по-домашнему, что у Алёны защипало глаза, но она сделала вид, что просто растрёпана после самолёта.

Элена не спросила ни «откуда ты», ни «как ты здесь оказалась», ни «а это правда, что ты умеешь?». Спросила только одно — и спокойно, как о погоде:

— У тебя руки тёплые?

Алёна подняла голову, не понимая.

— Что?

— Тёплые, — повторила Елена, не настаивая. — Просто ответь, да или нет.

— ...Да.

— И у меня тёплые, — Елена легко провела ладонью по мрамору, и под её рукой на секунду осталась тонкая тёмная полоса, будто камень отозвался. — И у Киры.

Она посмотрела на Алёну ровно, без нажима.

— Значит, ты в правильном месте, девочка. Ешь.

И замолчала.

Не задала ни одного уточняющего вопроса. Не спросила, как именно проявляется, как давно, что уже делала, боится ли. Не помогала успокоиться. Просто ждала, пока Алёна доест.

Это было самое невыносимое и самое милосердное, что можно было сделать.

Алёна взяла вилку. И впервые за двое суток — а если считать февраль, за полгода — поела по-настоящему. Всё. До конца. Даже попросила добавки. И даже не извинилась за это.

Потом Кира проводила её в комнату.

Комната была готовая — но не «гостевая». Не та, куда складывают ненужную мебель и чужое старьё. Своя. Кровать под светлым покрывалом. Тумбочка с лампой. Пустой шкаф с открытыми дверцами, чтобы гостя сама могла его обжить. Окно с балконом. И на подоконнике — наспех сорванный и поставленный в стакан кем-то — куст душистого южного розмарина.

Её. Её бабушкин запах.

Кира поймала её взгляд.

— Елена, — сказала она коротко. — Она такая.

Алёна кивнула. Ничего не спросила. Сняла кофту, повесила на спинку стула. Достала из сумки с поломанной молнией сменную одежду, положила куда надо — не думая, куда правильно, а просто куда.

Когда Кира выходила, у неё за спиной Алёна негромко сказала:

— Кир. Спасибо.

— Спи, — сказала Кира, не оборачиваясь. — Утром разберёмся.

Дверь закрылась мягко.

Алёна легла.

Бельё было свежее — с запахом стирального порошка и чуть-чуть с чем-то ещё, тёплым, сладковатым, — яблоками, что ли. Должно быть, Елена хранит в шкафу сухие яблоки. Так делают на юге. Так делала её мать. Так делала её бабушка.

Она лежала долго, с открытыми глазами, и слушала.

Внизу шумел город — другие, чем в её городе, звуки, ровные, густые, далёкие. Где-то за стеной, в мастерской, тихо что-то делала Кира. Иногда переставляла инструменты. Один раз звякнула чашкой. Алёна не слышала её мыслей, не слышала шёпота — только живые, спокойные, взрослые звуки чужой, но не враждебной жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.